

Глуговский Андрей Анатольевич

СТАРАЯ ТЕТРАДЬ

16+

Андрей Анатольевич Глуговский

Старая тетрадь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66621042

SelfPub; 2021

Аннотация

В этом очерке вы познакомитесь с частичкой истории дореволюционной Москвы, описанной очевидцем тех событий.

Андрей Глуговский

Старая тетрадь

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дореволюционная Москва, Россия накануне драматического исторического перелома по имени Великая Октябрьская революция – это сегодня что-то абстрактное, где-то пустое, лишенное конкретного человеческого наполнения и содержания.

Рукописная летопись моей бабушки Елены Павловны Долгих /Коробовой/ – это, с одной стороны, часть истории отдельной семьи, максимально наполненная конкретными деталями быта того времени, но, одновременно, как раз за счет обилия этих самых зарисовок и деталей, эта рукопись – это своего рода призма, посредством которой можно объемнее рассмотреть и понять, что и как тогда происходило и почему все сложилось именно так, как сложилось.

Помимо всего прочего, эта рукопись – это пример странной аберрации памяти революционных активистов, которые дружно клеймили «кровавого Николашку» за события на Ходынском поле, но при этом, зачастую ни слова про «подвиги» борцов за народное счастье в лице Ленина и Сталина, по сравнению с которыми «кровавый Николашка» – это мальчишка в коротких штанишках, нечаянно наступивший

на хвост домашней кошки.

Ну, что тут сказать, – как говорится, из песни слова не выкинешь, точно так же, как не выкинешь ни строчки из рукописи бабушки Лены, которая предлагается вниманию тех, кому интересны РЕАЛЬНЫЕ, а не вымышленные истории и зарисовки из жизни дореволюционной Москвы.

Еще одно последнее сказанье
И летопись окончена моя.

Дни давно минувшие.

Мои дедушка и бабушка поженились, когда ему не было 18-ти лет, а ей 15 с половиной. Разрешение на брак просили у владыки. Причина была уважительная: умер отец бабушки – дьячок церкви, а т.к. такие места часто передавались по наследству, то дед мог занять место умершего. Было это в 1870г в Москве, в Лужниках.

Приход был богатый, кругом были огороды, хозяева которых, прихожане церкви, снабжали с большой выгодой для себя овощами Москву. Местность была низменная, каждую весну во время половодья ее затапливала вода иногда входила и в дома. Были случаи, когда в ночь под пасху на лодках приходилось вывозить из домов вещи и людей.

Все было бы хорошо, но дедушка сильно «зашибал», и это являлось причиной того, что его разжаловали из дьячков псаломщиков в трапезники (звонари).

Прожили они в Лужниках несколько лет, а когда уже появились на свет моя мать и дядя Леня, переселились в Кусково, в имение графа Шереметьева, где в то время освободилось место трапезника в домовой церкви графа.

Весь причт жил в одном графском доме. На дорогу выходили окнами квартира священника, дьякона и дьячка, окнами во двор – квартиры дедушки и просвирни, которая пекла проссрощь (?) и в большой корзине носила их в церковь продавать.

По одну сторону от этого дома жил смотритель дворца, дальше стоял флигель для рабочих графа, а еще дальше жил приказчик, и был конный двор, где содержались лошади графа, и откуда подавали ко дворцу кареты, когда граф, случалось, наезжал в Кусково. Остальное время графская семья жила в Петербурге при дворе царя.

По другую сторону дома для причта жил урядник. Во дворе у него была «холодная», куда сажали пьяных для протрезвления.

Дальше шел птичник, где уже к тому времени птицы не было, т.к. граф не жил здесь.

Через дорогу огромный, вековой липовый парк, прекрасно распланированный с мраморными статуями древних богов и героев, огромными оранжереями и редкими цветами на клумбах летом. Все это сохранилось хотя не полностью и теперь. В парке жил управляющий имением немец Пиг, садовник, тоже немец, Бутце и конторщик, ведавший отчетно-

стью по имению.

Семья у дедушки все росла. Дети рождались почти ежегодно.

Всего было, по рассказам моей матери, 18 человек. В живых осталось 8 человек. Получал дедушка всего 18 рб. в месяц. Для содержания такой большой семьи это было явно недостаточно. Поэтому держали всегда корову и свинью. Пастбище было огромное: кругом леса и поля. Скот иногда угоняли далеко за Татарскую рощу.

В полдень их не пригоняли домой, и доить приходилось ходить в теперешний заповедник. Тогда он назывался Татарской рощей т.к. летом туда приезжали татары праздновать свой религиозный праздник.

Помню, купил как-то дедушка поросенка и заплатил за него 1 руб. Бабушка с фонарем ходила показывать мне его – малюсенький поросенок был. Заплатили за него рубль и назвали Рубликов. Через несколько месяцев он вырос в огромного кабана.

А дедушка все не переставал пить. Помню, иногда приходил кто-нибудь и говорил бабушке: «Ольга Ивановна, Федор Семенович лежит в канаве, заберите его». Один раз под самую пасху так напился, что едва добрался до дому. Подсадили его на печку, потом на палати, а он все пел: «Христос воскрес» – пока не заснул. А дело было почти в полночь. Ему нужно было идти в церковь, звонить к пасхальной заут-

рени. Горько плакала бабушка, не зная, что делать. Выручил сын, дядя Костя – он пошел звонить к заутрени.

Как уж прошла служба в церкви без дедушки, который должен был петь на клиросе, я не знаю.

К тому времени дедушка стал плохо слышать: то ли от большого колокола, в который приходилось звонить ежедневно, то ли по другой какой причине. Часто на возглас священника пел невпопад. Вместо «Слава тебе, Господи» – пел: «Поддай Господи»– или: «Аминь». И бабушка все время опасалась, что из-за пьянства и глухоты его могут уволить. Куда бы им тогда деться с такой семьей?

Школ тогда не было ни во Владычине, ни тем более, в Кускове, и дедушка сам учил маму чтению и письму.

Буквы произносились так: аз, буки (отсюда слово – азбука), веди, глагол, добро и т.д.

Складывались: буки аз – ба, веди аз – ва, добро аз – до и т.д.

Несмотря на очень ограниченное образование, мама очень любила читать. И ко мне перешла эта любовь к чтению. А ей она досталась от дедушки.

Как сейчас помню: откроешь из сеней дверь в кухню – перед глазами за кухней открытая дверь в «горницу» и у окна, надев большие очки, сидит дедушка и читает. Вставал он очень рано, когда все спали. Ставил в кухне самовар и долго

пил чай вприкуску и читал. А потом шел в церковь, убирал ее и звонил к заутрени.

К этому времени дети подросли. Мама, дядя Леня и дядя Костя уже жили самостоятельно, своими семьями. Подросла и заневестилась тетя – начали наведываться свахи узнавать, сколько за ней денег дают, какое приданное. Помню, посватали ей одного жениха, а у него, говорили, один глаз стеклянный. И вот настал день «смотрины». Приехал жених с родителями и свахой. Нас, ребят, упрятали за печку, над которой были полаты (на них спали так же, как и на печке. В доме было только две кровати на всю семью.)

Перегородка, отделявшая кухню, где были печка и полаты, в горничной до потолка не доходила и сидя на полатах, мы внимательно смотрели на жениха, очень уж нам хотелось рассмотреть его стеклянный глаз. Но так ничего и не увидели.

За этого жениха тетку так и не отдали. То ли жених не понравился, то ли жениху мало показалось приданое. Отдали ее за другого. Сначала было благословение – молодых благословляли иконами, а потом свадьба.

Свадьбу играли в Новой слободке в трактире Егор Иваныча.

Помню, был накрыт в одной комнате большой стол с закусками и вином. В другой комнате танцевали, и обносили орехами, конфетами и печеньем. Мама тоже танцевала, и

каждый раз, когда она проходила мимо меня, я цеплялась за ее платье.

Свадьба эта, по словам бабушки, «влетела им в копеечку», и они долго расплачивались за нее.

Вообще, надо сказать, в такие дни, как свадьба, пасха, рождество, именины дедушки и бабушки, к ним съезжалась вся наша многочисленная родня: сыновья и дочери с женами, мужьями и детьми. Братья, сестры, племянники и племянницы. Одних детей набиралось 10-12 человек, и я до сих пор не знаю, как умудрялась бабушка в такой маленькой квартире всех посадить и всех накормить.

Помню, как вся московская родня поехала в Тулу на свадьбу – сестра бабушки выдавала замуж дочь. А нас, ребят, оставили у бабушки дома с богаделкой (у графа была богодель, ну, где жили престарелые рабочие графа). На этом месте сейчас ЦКШ. (Центральная комсомольская школа, в настоящее время университет). Дедушка очень любил мою маму, как старшую и очень почтительную к нему дочь. Она всегда его называла папенька, а бабушку – маменька и на «Вы». Иногда дедушка приходил к любимой дочери – Машеньке в гости один, без бабушки. Мама посылала меня в трактир к Антипычу (во Владычине) «за мерзавчиком». Ставились на стол соленные и маринованные грибы, которых набирали сами – кругом был лес. Грибы росли и на участке, где стояла наша дача и на канавах.

«Мерзавчик» пустел, а дедушка делался все веселее и раз-

говорчивее (мама пила только «для приличия»). Пора было идти домой, но ноги бабушки уже плохо слушались, и мы с младшей сестрой брали его под руки, а он шел, опираясь на нас, притопывал и пел. Запомнился мне только конец его любимой песни: «Метелки, метелки, метелки собирать».

Я родилась 26 апреля (9мая н.с.) в Москве, в его императорского величества «доме», куда клали самых бедных, которым нечем было заплатить. Жили мы тогда в доме Грудцина, (у заставы Ильича). Отец был артельщик, т.е. внес в артель залог.

Артельщиков ставили на такие места, где они отвечали в случае какого-нибудь несчастья всем своим залогом. Одно время отец охранял ночью теперешнее здание ГУМа, (тогда это были Торговые ряды).

По ночам делать было нечего, и поспорили отец однажды с другим артельщиком, что прыгнет с переходного мостика, соединяющего две линии, со второго этажа на первый. Пospорили на рубль. Отец прыгнул. Как он не сломал себе ноги – не знаю. Хромал он после этого долго. Но этот рубль выиграл.

Женился он на матери совсем «на голой» т.е. не взяв почти никакого приданого, т.к. давать ей родителям было нечего. И часто, по ее рассказам, особенно первое время, упрекал ее этим: «Взял тебя голую». А женился потому, что так хотели его родственники, которых он очень слушался: мама

была скромная, работающая, и на ней, по существу, лежал почти полностью почти весь дом: бабушка была большая модница, и любительница ездить в гости.

Была у нее и модная шляпка, и отделанная стеклярусом накидка летом, и ретонда зимой. Мама же во время отлучек бабушки присматривала за младшими сестрами и братьями и вела хозяйство. А спешили его родственники женить, потому, что была у него «ан _» (что за ан_ – разобраться в рукописи не удалось), и они опасались, как бы она не «окрутила» его.

Родственники отца были богатые. Две семьи родственников жили в Лялином пер. на Покровке в доме Милютина, теперь известного композитора. Семья его была тоже папиной родней.

Помню, когда умер его отец, мама была на похоронах и, приехав домой, рассказывала, какие богатые были похороны и чем угощали. По ее словам, «только птичьего молока» не было.

Насчет денег отец был очень прижимист. Помню, семья наша уже из 5 человек состояла, а он даст матери денег рубль на неделю, и больше не спрашивай. «Я тебе рубль дал, куда ты его дела?»

Копил он деньги на дом. Построить его решил тоже в Кусково, по теперешнему 4 проезду.

Кусково тогда было не то. На том месте, где сейчас Трудо-

вая и Старослободская ул. стоял стеной сосновый лес. Граф видимо был хороший коммерсант. Вдоль леса вырубали просеки, поэтому раньше и называли не проезды, а просеки -1, 2, 3, 4-ая. Разделили землю на участки и стали сдавать их в аренду желающим построить на них дом.

Кроме того, граф сам настроил в разных местах имения дачи, которые на лето сдавались дачникам из Москвы. Самого графа и его семью я никогда не видела. По рассказам 85 летней тети Лизы, семья которой работала когда-то на графа, он был большой ловелас: в каждом имении (а был он богатейший помещик царской России) у него была «азноба».

Однажды приехал он в Кусково, рассказывала тетя Лиза, и велел «азнобе» хорошенько попарить его в бане. Потом уехал в Москву, а часы свои оставил в бане. Через некоторое время вспомнил о том, что часы оставил в Кускове, но где не помнил и послал за ними лакея. Долго искали часы во дворце – нигде не могли найти, хотя все «лисы норки» обыскали. Наконец вспомнили, что он в бане был. Пошли туда, а часы там и лежат. Найти то нашли, но как сказать графу, что он их в бане забыл – большой конфуз для него.

Думали, думали и, наконец, решили сказать, что завалились они в крысиную нору в углу его кабинета.

Так и сказали. Вот у этого то графа и арендовали мои родители участок.

Поставили дачу. Летом ее сдавали дачникам, а сами жили в сарае. Сильно мерзли там, если весна и лето были холод-

ные.

Жили в Кускове мать со мной и младшей сестрой. (брата уже тогда не было). Отец работал ночным сторожем и приезжал домой только в воскресенье.

Все бы хорошо, только завелся в доме домовый, который сильно пугал маму в долгие, зимние ночи. В сильный ветер то заунывно выл, то пронзительно визжал в печной трубе. (потом говорили, – опытные печники, если им мало «подносят» хозяева во время работы, вмазывали в трубу горлышко бутылки). Она то и издавала такие звуки при ветре.

Хлопал домовый печной заслонкой, шуршал в углу. Были и другие проказы: слышит мама под вечер песню, выглянула в окно, идут гуськом _ (?– не восстановлено), на плечах пилы и топоры и поют. Вышла на улицу поглядеть – нет никого. Где здесь была фантазия, а где действительность – сейчас понять трудно.

Но все решили, что домовый нас невзлюбил, и решили дом продать и построиться на этой же просеке. Только немного дальше. Дом купил портной Соколов. Пробовал домовый и с портным шутки шутить, да только поймал его портной в маленькой юбке (дочь) и убил палкой. И все с тех пор в доме тихо стало.

(....??.....)

Две летних половины летнего дома стали сдавать на лето дачникам. В маленьком прирубке к одной половине жили са-

ми зимой. На лето освобождали его, т.к. состоял он из кухни и комнаты для прислуги. Переходили жить в «маленькую хатку» – тут же на дворе. Была в ней хотя и маленькая комната с русской печкой и такие же маленькие сени.

Лето мы, ребята, проводили весело, но осень и зима тянулись бесконечно. Кругом были или пустые, незастроенные участки или темные, нежилые дачи, владельцы которых зимой жили в Москве. С наступлением темноты запирали сени на крючок и засов, в окна вставляли ставни на запорах с маленькими дырочками посередине.

Помню эти длинные, длинные зимние вечера. Я лежу на печке, подперев голову ладонями и смотрю, как шьет мама. Тускло горит керосиновая лампа, слабо освещая убогую комнату, по углам темно. Однообразно стучит машинка, и мама поет: «Среди домика _ на гладкой высоте растет, цветет могучий дуб в зеленой красоте», или: « Хасбулат удалой, бедна сакля твоя, золотою казной я осыплю тебя». А за окном поет свои жалобные песни старуха-вьюга, да шумно качают мохнатыми головами могучие сосны», словно спорят о чем-то.

Иногда, в этот зимний концерт, вплетаются тихие звуки: тук-тук, тук-тук.

Это сторож, проходя по просеке, стучит в свою деревянную колотушку, предупреждая воров – не сплю, сторожу.

На графской колокольне удары колокола отсчитывают

ушедшие часы. Медленно и торжественно плывут звуки в тишине морозной ночи, колеблясь, и постепенно ослабевая, и также медленно замирают где-то вдали.

По скрипучим ступенькам колокольни медленно спускается сторож.

Мама спешит: кофточку надо командирше сшить в срок – к масленице. Командирша – наша соседка. У нее дача. Она староверка. Ее молельня полна старинными темными иконами. Она ездит молиться в Рогожскую, в новую церковь.

В семье у нее никто не работал. Старший сын, Саша, сошел с ума – «зачитался библией», а старшая дочь – глупая «Нюша дурочка». Еще 3 дочери. И никто нигде не работал. А жила она широко. Каждый праздник, а летом каждое воскресенье, к ней на извозчиках подкатывали гости. Летом, в Ольгин день – ее именины, весь сад был иллюминирован. То и дело подкатывали извозчики с гостями. Дачу Командировой знал на Кусковской станции каждый извозчик. Большая хлебосолка была. Наверное, капитал был.

Рядом с нами была дача Иванова. Сам Иванов работал старшим приказчиком в большом мануфактурном магазине, имел большую дачу. У него был нанят на круглый год извозчик, который возил его на станцию и обратно.

Жена, Катенька, была большая модница. Лялечка, единственная дочка, была избалованная, изнеженная барышня.

В день именин Катеньки, осенью, к ним съезжалось много гостей. Окна их спальни были напротив нашего окна. (хо-

тя и далеко было). Мама становилась около окна, а мы лезли на стул и смотрели сквозь ставню, как Катенька с Лялечкой «нафирмониваются». Далеко за полночь в этот день были ярко освещены окна этого дома.

Печальная судьба ждала Лялечку – этот изнеженный цветок. Никакого учебного заведения она не кончила, надеялась век порхать и резвиться. Вышла замуж за блестящего офицера, в последствии белогвардейца, расстрелянного за контрреволюцию. Сам Иванов умер. Вдове пришлось продать дачу и переселиться в Москву. Так что Лялечка, не умея ничего делать, пошла по рукам и умерла в нищете. Мать ее, спесивая Катенька, приехав как-то из Москвы к нам, завидовала маме: «Счастливая Вы, ваша Лена в институте учится, а МОЯ...».

А зима все тянулась – короткие дни сменялись длинными ночами. Не успеет как следует развиднеться, а ночь чувствует свою силу, уже спешит окутать землю темнотою.

Но, «ничто не вечно под луной». Вот конец декабря, самый короткий день, но за ним будущее, и он, как бы чувствуя это, посылает на землю первые робкие лучи Солнца. «Ну, работа, теперь веселей дело пойдет» – говорила мама, – «теперь солнце на лето, зима на мороз».

Вот пришло и рождество. В этот день мама вставала рано, топила печку, пекла пироги и жарила рождественского гуся. Вкусный запах этого редкого блюда наполнял кварти-

ру. В углу, тускло поблескивали в полутьме елочные игрушки. Там стояла рождественская елка. Рано утром приходили мальчишки – (?– неразборчиво) .

Войдя в дом становились перед иконами и громко и быстро начинали петь: «Рождество твое, Христе боже наш» – кончив, так же быстро поздравляли – «С праздником вас!» Мама оделяла их копейками (ходили по двое и по трое) давала по пирогу, и ребята бежали в следующий дом – «Христа славить».

После рождества начинались святки, которые длились неделю до нового года (старого). На святках ходили по домам ряженные – или в масках, или намазав лицо сажей, чтоб нельзя было узнать. Ряженные пели, плясали. Их тоже оделяли пирогами и деньгами. Молодежь на святках гадала: жгли бумагу на подносе, подносили пепел к стене, смотрели на тень от пепла и по его очертаниям угадывали, что ждет их в новом году. Приносили петухов с насеста, ставили перед ними воду и зерна. Если пить станет петух – муж пьяница будет, а если зерна клевать –хороший хозяин.

В полночь, под новый год, в церкви служили молебен в память о нашествии «двунадесяти языков» т.е. Наполеона в 1912 году / во главе банды воров-европейцев/.

...А дни становились все больше, ярче и теплее грело солнышко. Шла весна.

Как я сказала, обе половины дачи мы сдавали дачникам

на лето. Готовиться к этому начинали ранней весной: в сараях рыли ямы, владыхенских крестьян нанимали набивать их льдом. Мыли полы и стены в обеих половинах, на окна вешали «записки» – четырехугольники из белой бумаги, что значило – дача сдается. Как только дача была сдана – записки снимали. Весной, с марта, нас ребят по воскресеньям посылали «ловить» дачников.

Пообедав, мы шли к Шереметьевскому саду на дорогу, ведущую к Кусковской станции (Новогиреева не было). Со станции шли дачники, снимать дачи. Мы окружали их (не одни мы там были) и зазывали каждый к себе. Зазывать надо было вежливо: «Пожалуйста к нам», на вопросы отвечать: «Да-с, нет-с».

Мать встречала их с поклоном. Если дача нравилась – дачники давали задаток, а мать писала расписку, за сколько сдала дачу и сколько получила в задаток. У нас дачники жили всегда по несколько лет и маму, Марь Федоровну, уважали.

Наступал май месяц и часто слышались на углу, при повороте с улицы в нашу просеку, крики извозчиков – но, но. Это воза с вещами дачников застревали в грязи и каждый раз на этом самом месте.

Грязь на дороге была непролазная весной и осенью. Поставишь одну ногу и смотришь – куда можно другую поставить. Это днем. А ночью галоши оставляли в грязи.

Приезжали дачники и все кругом оживало. Клумбы засаживались цветами, расчищались площадки для игры в кро-

кет. Воздух наполнялся разнообразными криками разносчиков, предлагавших свой товар.

Каждый товар выкрикивали по-разному. Мороженщик, медленно катя впереди себя тележку, так же медленно тянул: «Конди-терское, моро-жено». Булочник восклицал скороговоркой: «Сушки! Сухари! Сахарные баранки! Конфеты! Шоколад! Печенье!». Иногда ходили татары, собирая старье. Они лаконично сообщали: «Шурум бурум».

Дачники катались на велосипедах, ловили рыбу, ходили купаться. На большом пруду были построены большие купальни, куда пускали за плату. Но большинство, конечно, купалось на открытом т.е. среднем пруду. Купальных костюмов тогда не было, и женщины, раздевались где-нибудь под кустом, со всех ног, прикрываясь руками, бухались в воду, поднимая фонтаны брызг.

Делалось это потому, что недалеко, отдельно от женщин, купались мужчины и среди них всегда были охотники до интересных зрелищ.

Иногда кто-нибудь из мужчин приплывал к женщинам, нырял, и женщины поднимали отчаянный визг, спеша к берегу. Мы с девчонками проводили на пруду по пол дня. Только искупаешься, выйдешь на берег – смотришь, пришла подруга: «Давай еще со мной купаться». Хоть и дрожишь вся, зуб на зуб не попадешь, а как отказать приятельнице. И снова бух в воду. И так раза 3-4. Пока совсем не зачоченеешь.

Вообще в Кусково-то, ездило очень много народу. Поезда ходили тогда гораздо реже и медленнее, конечно, сейчас электрички.

На станции Кусково был вокзал, где был буфет и зал II класса для чистой публики. В поездах были вагоны I класса (синие) II –кл (желтые) и III–кл (зеленые).

Когда останавливался поезд, на станции давали первый звонок, потом второй, после третьего звонка кондуктор давал свисток, машинист отвечал гудком и поезд медленно трогался. Около станции стояло много возков, и если кому-нибудь надо было ехать, вся стая бросалась на свою жертву, каждый тянул в свою сторону.

Рядом с вокзалом был трактир Новкова, где извозчики за чайником с чаем, а иногда и с чем-нибудь покрепче коротали время между поездами. Дальше от вокзала, в новой слободке, «самоварники» сколачивали длинные столы и скамьи, врытые в землю. Кипятили огромные медные самовары и поили москвичей чаем. За столами всегда было людно, и выручались (?) «самоварники» хорошо.

Никаких ларьков и буфетов тогда нигде не было.

На троицин день на поле между Кусковым и Владычино было народное гулянье: ставили карусель, сколачивали балаганы и палатки, где продавались какие-то черные длинные стручки, жамки (винные ягоды) и вяземские пряники. Играла гармошка, били в огромный барабан, и под эту музыку лихо кружилась карусель. А рядом с балаганом из высокого

ящика выскакивали два петрушки. Они начинали разговаривать, потом ссориться, потом драться. Один громко ударял палочкой по деревянной голове другого, завязывалась драка, сыпались удары по головам. Публика хохотала. Кончалось это тем, что один петрушка отчаянно кричал: «Караул, убили, убили!», и куклы скрывались в ящике. А вскоре в балагане начиналось представление. Насколько оно было интересно, можно было судить по дружному хохоту невзыскательной публики, раздававшемуся из балагана. Туда пускали за деньги. Быстро пролетало лето. Уезжали дачники. Пустели дачи. Кругом опять пусто, уныло, безлюдно. Опять бесконечно тянулись осень и зима.

8-ми лет меня отдали учиться во Владыкинскую 3-х классную начальную школу. Школьная премудрость давалась мне легко. Здесь я пристрастилась к чтению.

В школе была маленькая библиотечка. Я часто бега туда и всегда просила дать мне книжку потолще. Помню, какое большое впечатление произвела на меня книга о жизни на севере. Я мечтала, когда буду большой, поехать туда, ездить на собаках, жить в чумах и любоваться величественным северным сиянием. Мечты! Мечты! Изредка в школе показывали туманные картины: на стену вешали большую простыню, ставили «волшебный фонарь», куда вставляли темные стекла – фотографии, и на простыне возникали цветные картины.

В школе было 3 классных комнаты. Учились в одну смену.

На всю жизнь запомнился мне один случай в ту пору. Ребята, которые хорошо выучили урок, обычно сами поднимали руку и просили учительницу: «Позвольте мне, позвольте мне!» Кто сидел на передних партах, приподнимались и совали руки чуть ли не в лицо учительницы, прося вызвать. Я училась хорошо и тоже часто тянула руку. Один раз я не выучила почему-то урок, но отставать от других не хотелось, и я тоже тянула руку. Учительница и вызвала меня. А было только начало урока.

Я вышла к карте (был урок географии) и молчала. Учительница ходила по классу из угла в угол, скрестив на груди руки. Она молчала, молчал класс, молчала и я. Так продержала она меня до звонка. Больше я так никогда не делала.

Окончила я школу с отличием. В награду дали мне похвальный лист, книгу «Серебряные коньки» и евангелие. Учительница советовала маме учить меня дальше. Но это было легко сказать: куда не хотела пристроить меня мать, всюду или плата за обучение была слишком высока для нас или школа была слишком далеко от Курского вокзала.

Конечно ни трамвая, ни автобусов тогда не было. От Курского вокзала ходила конка. Две лошади шагом по рельсам тянули вагон. Места в вагоне были внизу, в самом вагоне, и на крыше. Сколько же времени (да и денег) надо было употребить на то, чтобы доехать, положим, до Сухаревой башни? Наконец на Покровке нашла мама частную женскую гим-

назию с правами казенных гимназий. Владелица гимназии была немка, Берта Васильевна. Ей я обязана хорошим знанием немецкого и французского яз. Немецкий язык у нас в классе преподавала дочь начальницы, Карри Карловна. Она была прекрасным педагогом и язык мы знали прекрасно. Достаточно сказать, что уже в 7-ом классе мы писали сочинения.

Классной наставницей в нашем классе была француженка, ни слова не понимавшая по-русски и нам, поневоле, приходилось разговаривать с ней по-французски. Преподавал французский язык тоже француз из Парижа и тоже не знавший ни слова по-русски. Он был очень строг и, если ученица не знала урок, он складывал два пальца баранкой и говорил – ничего (ноль) и ставил ноль в журнал.

Состав учащихся был пестрый. Были дочери состоятельных родителей, были немки, отцы которых приехали в Россию за наживой. Были и такие, как я. Нас звали неимущие. Полная плата за обучение была 150 руб. в год. Но неимущие родители торговались с начальницей, и она брала с них меньше. Так за меня платили 75 руб. Но как часто и как больно слышала я слово – неимущая. Стоило мне расшалиться или получить какое-нибудь мелкое замечание, как Карри Карловна после нотации напоминала мне: «Не забываете, что Вы неимущая!».

Помню два случая, которые больно ранили мне сердце. Я

училась в 6-ом классе, мне было 17 лет. Я прекрасно декламировала. Каждый год, во время зимних каникул, начальница снимала огромный зал с буфетом (не помню, где это было) и устраивала бал для старшеклассниц. К этому дню гимназистки готовились: шили новые платья, покупали бальную обувь. Велись бесконечные разговоры об этом бале.

Я носила форменное платье по несколько лет, пока не выростала из него, и пока уже негде было ставить на нем заплатки, особенно на локтях. И уж, конечно, ни о каком новом платье к балу и ни о каких бальных туфлях мне и мечтать не приходилось. Не учитывая этого последнего обстоятельства, подружки в один голос говорили, что именно мне поручит учитель литературы говорить стихотворение на балу. И вот однажды, в перемену, учитель вошел в класс, позвал ученицу Иванову и поручил ей выучить стихотворение к балу. Напрасно девушки, окружив его, убеждали дать это стихотворение мне. Он, немного смущенный, повернулся и ушел. А Иванова была большая кривляка и, по общему мнению, декламировала гораздо хуже меня, но ее родители были состоятельные, и новое платье к балу уже шилось. Все были в недоумении. В чем дело? Одна я хорошо понимала: нельзя же было меня в заплатанном платье и стоптанных ботинках выпустить на сцену. Проклятая бедность!

Запомнился мне и другой случай (опять та же бедность!)

Как я уже сказала, осенью и весной в Кускове была непролазная грязь. А т.к. обувь у меня, на сколько себя помню,

всегда была старая, домой я приходила грязная и мокрая. Но вот однажды весной, когда старые галоши совсем развалились, отец купил мне новые. Училась я тогда в 7-ом классе, и было мне 18 лет. Надела я первый раз новые галоши и поехала в школу. И вот после уроков в раздевальне галош своих в мешке я не нашла. Обратилась к Карри Карловне. Она как-то неловко дала мне понять, что галоши в моем мешке были не мои, а другой ученицы (как сейчас помню, Крюковой из 6-го кл.). Выходило, что я украла у нее эти галоши и положила в свой мешок. Напрасно плакала я и уверяла, что это не так – ничего не помогло. Подруги по классу сочувственно отнеслись ко мне и, кажется, не поверили тому, в чем меня обвиняли.

Так галош мне и не вернули, и я по-прежнему месила грязь в старых. А мать даже не поехала объясняться к начальнице. Кто поверит беднякам? На всю жизнь запомнила я этот день. Как я пережила его – трудно говорить об этом. Пришла на Курский вокзал, хотела броситься под поезд.

Но тут как молния у меня мелькнула мысль: буду учиться дальше, стану писательницей, напишу об этом. Тогда мне поверят. Писательнице! Второму Гоголю! Да, да – второму Гоголю! Мысль эта, чтоб сделаться писательницей и именно такой, как Гоголь, была у меня и раньше. Читала я тогда очень много. И любимым моим писателем был в ту пору Гоголь. Меня пленяли чарующие картины украинской природы, жизнь и быт украинцев.

А оперы «Ночь под рождество» и «Майская ночь»!

Нет слов, чтоб описать тот восторг, с каким я слушала и смотрела эти оперы.

Но прошел этот черный для меня день, когда зародившаяся мечта спасла меня от гибели, потом еще, и еще и глубокая рана постепенно начала заживать. Но след от нее, как проклятье, навсегда остался в той жизни, которая одним, без всякого труда, давала все, что они только хотели, а для других была злой, несправедливой мачехой.

Одной такой счастливицей, которую баловала жизнь, была моя одноклассница, красавица Женя Макиевская, внучка княгини Куракиной. Приезжала она в школу на собственной лошади, в сопровождении горничной, несшей ее сумку с книгами. Жила она в огромном, каменном двухэтажном доме. Нижний этаж сдавался, а верхний, состоящий из множества роскошно убранных, с фамильными портретами, занимала семья княгини. Ни раньше, ни потом за всю жизнь не видала я такой роскоши.

Бывала я там с одноклассницами. Женя звала нас тогда, когда не было дома бабушки. И как это ни странно, эта аристократка, окруженная роскошью, привязалась ко мне – неимущей. Быть может злые, едкие насмешки, рожденные моей ненавистью к богатству, которые я иногда не стесняюсь пускала по ее адресу и ее желание как-то оправдаться предо мной, быть может мои мечты и смешные суждения были

тому причиной. А мечтала я по-прежнему стать писательницей.

Я начала писать. Написанное приносила в класс и читала подругам на переменах. Слушали меня с интересом, мои «произведения» нравились им. О том, чтоб попытаться где-то напечатать их, я даже и не помышляла.

Запомнились некоторые места из моих произведений. Так, описывая графский парк и старинные строения в нем, я писала: «Вековые сосны поднимали вверх, к далекому темному небу, свои могучие, мохнатые руки и, раскачиваясь, стонали: «знаем, помним». Помню начало своего другого «произведения»: «Среди голых, диких скал высился неприступный рыцарский замок. Ричард Львиное Сердце, гордый потомок древних рыцарей, в угрюмом одиночестве жил там».

...Шло время. Одни мечты сменялись другими. Как косяшки на счетах отсчитывались дни.... Вот прошла уже неделя, месяц, за ним еще месяц, и целый год ушел в вечность. Так прошел последний год школьной жизни. Позади экзамены... А впереди целая жизнь, огромная, бесконечная, закрытая пока легкой, светлой дымкой неизвестности, но, конечно, таящая в себе столько радости и счастья.

«Как хочется жить, жить полной жизнью, не думая ни о чем, приказать времени словами поэта: «Остановись мгновенье – ты прекрасно!».

Какие планы, какие мечты владели мной тогда! И ничто не казалось невозможным.

Шел 1916 год. Я решила поступить с подругой вместе в высшее учебное заведение – экономический институт (теперь институт народного хозяйства им. Тихонова). Для того, чтоб поступить туда без экзаменов нужно было окончить 8 кл. гимназии, я же окончила только 7 и должна была при поступлении сдавать экзамен по немецкому яз. и математике за 8-й класс. Первого я не боялась и к нему совсем не готовилась. А за математику пришлось взяться основательно.

Большую помощь в этом оказал мне студент III-го курса того же института – Корешков. Он жил в Кускове и часто ходил в парк, куда я ходила заниматься. Там мы и познакомились. Он же мне начал преподавать первые уроки политграмоты т.к. был он, как я потом узнала, большевик. Был он и большой насмешник и, говоря о том, что впереди большие события, большие испытания и трудности, упорная борьба, требующая смелости, веры в правоту своего дела, иногда кончал словами: «Да где Вам, ведь Вы кисейная барышня».

Я негодовала, хотя и понимала, что такие насмешки вытекали скорее из желания проверить меня, чему соответствовали его мнению обо мне.

В это время я очень подружилась со своей однокурсницей, Олей Колосковой. Она жила в Кускове за станцией. Я

часто стала бывать у ее старшей сестры, Зинаиды Алексеевны. Она была замужем, как выяснилось потом, за профессиональным революционером – большевиком, Михаилом Осиповичем Логиновым.

Помню их уютную квартиру, столовую, где собиралась молодежь. Там бывал иногда и Корешков. Молодые, горячие головы. . . . Пламенные, смелые речи Мих. Ос. (он работал потом в «Безбожнике» с Т. Ярославским. Сейчас он персональный пенсионер, несколько раз выступал по телевидению).

С каким восторгом слушали мы его! Буквально ловили каждое слово! А потом вопросы, множество вопросов. И на каждый – разумный, правдивый ответ. Целый мир открылся предо мной. Мир новых человеческих отношений. За него надо было бороться, бороться не щадя жизни. За торжество идей правды, справедливости. Но столько могучей силы, уверенности в торжестве этой идеи было в каждом из нас, что ничто не было страшно, ничто не могла сломить этой веры в победу. Так велика была сила и красота его слов. Она буквально зажигала, звала к действию.

Излюбленным местом собраний и сходов была студенческая столовая (столовка) на Малой – (?). Там же устраивались и вечеринки с пением, танцами и сценическими выступлениями. Особенно веселилось студенчество в свой традиционный студенческий праздник, Татьянин день, а у нас в институте – в Валентин день. Помню пользовавшуюся лю-

бовью студентов песню.

«От зари до зари, лишь зажгут фонари, вереницы студентов шатают, через тумбу, тумбу раз, через тумбу, тумбу два, через тумбу, тумбу три спотыкаются. А Владимир святой с той башни крутой на них смотрит, стоит улыбается. Через тумбу... Но соблазн был велик, и не выдержал старик, с колокольни своей он спустился. Через тумбу, тумбу раз...».

Экзамены я сдала и была зачислена на I курс института. Одновременно мне пришлось начать работать. Отец заболел, очевидно, водянкой: у него пухли ноги, сам он опухал, особенно по утрам. Ходил с трудом. Никакой пенсии тогда не было. Таким образом, вся семья: отец, мать, младшая сестра и брат оказались на моем иждивении. Работала я в аптекарском складе Моск губ. Земства. С утра до вечера, оттуда ехала в институт на Серпуховку. Возвращалась около 12 часов ночи. Трамваи ходили плохо, поезда тоже. Приляжешь, бывало, пока мама разогревает ужин и заснешь. Станет будить, а я разосплюсь и есть не хочется, так голодная и заснешь.

И несмотря на такую бы, казалось, занятость, ухитрялась часто бывать в театрах, побывала во всех музеях. Часто бывала на лекциях в Политехническом музее. Видела Ермолову, Южинт, Яблочкину и других корифеев тогдашней сцены.

Запомнилась Ермолова в «Стакане воды»... поднимается в черном платье и величественным жестом приказывает: «Подайте мне стакан воды». Особенно любила я художе-

ственный театр. Такие вещи, как «На дне», «Вишневый сад» оставили неизгладимое впечатление. Билеты исключительно на галерку, покупала в институте.

Наступил семнадцатый год...

Студенчество бурлило...

В большом зале института стихийно возникали митинги. Произносились смелые речи. Помню, на одном из таких митингов хотел выступить профессор Манулов, ярый реакционер. Его так освистали, что он должен был поспешно уйти. Помню, как прямо из института после митинга, построившись в колонны, с пением революционных песен отправились в центр к зданию Думы. На пути к нам присоединилась масса народу.

Могучей рекой разлилась многотысячная толпа на огромной площади. И вдруг песня смолкла, наступила тишина. И в этой тишине жутко и отчетливо раздался чеканный шаг солдат. При свете фонарей, колеблясь сверкали штыки.... Все замерло. Вот оно – начинается – молнией мелькнула мысль.... И вдруг могучее ура прокатилось по площади: подошла воинская часть, перешедшая на сторону демонстрантов.

Ходили мы в казармы, агитировали солдат перейти на сторону революции. Офицеров в казарме почему-то не было, но когда мы шли из казармы к воротам, они начали стрелять в нас и ранили несколько человек...

Вспоминаются первые дни после февральской революции. Как ловили жандармов и как они прятались по чердакам, переодевшись в штатское, но их все равно узнавали и вели по улицам под свист и смех толпы.

Не верилось, что нет больше царя, последнего кровавого Николая, который начал свое царствование, полив кровью задушенных и затоптанных на Ходынском поле людей и был сам расстрелян восставшим народом.

...А война все продолжалась...

На улицах Москвы перед булочными с ночи становились огромные очереди за осьмушкой черного хлеба. Москва голодала. На рынке за миллионы (лимона) Керенок покупали фунт черного хлеба. С фронта дезертировали солдаты.

Армия разваливалась. А правительство Керенского призывало к войне до победного конца, слепо ведя страну к гибели. Но уже новая сила, могучая, непобедимая, вставала из руин и разрухи, и ведомая гением Ленина, спланивая вокруг себя миллионы людей, встала на пути этого прогнившего, бессильного мира, смела его, как могучий шквал и «Революция, о необходимости которой все время говорили большевики – совершилась».

И меня, как малую песчинку среди волн бушующего океана подхватила и понесла она на своих крыльях и дала место в новом мире, где труд является владыкой мира. Дала мне возможность жить, трудиться во славу идеи Коммунизма.

Вот кончена моя повесть о днях, давно минувших, о том, что было когда-то уже много лет тому назад, и, казалось бы, канувших в вечность, о людях, живших тогда и тоже, казалось ушедших в небытие, давно забытых.

Но свершилось чудо: ожили события давно минувших дней, на короткий миг снова ожили давно ушедшие от нас люди и

и рассказали, не таясь и не приукрашая, о той жизни, какой мы жили тогда.

И жаль мне расставаться с ними, снова близкими и родными, вызванными из небытия, заставившими меня снова пережить и мое печальное, темное детство и тревожную, богатую событиями юность. Потому, что нет ничего дороже для человека, чем его юные годы, их надежды и мечты. Пусть это голодные и суровые годы. Но юность – это цветение человека. А цветению радуются все живые: и пышная роза, и скромный полевой цветок.

Закрыта тетрадь, события и люди, вызванные из далекого прошлого, постепенно уходят назад в вечность, чтоб уже никогда не вернуться.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Помимо рукописных сказаний о Шереметьевском дворце в Кусково и жизни в те времена, в моей памяти остались какие-то фрагменты устных сказаний от бабушки Лены.

К примеру, обширный пруд перед дворцом копали плен-

ные шведы.

Экзотические плоды из Шереметьевской оранжереи поставлялись ко двору матушки, а для того, чтобы крестьяне по дороге все это не схрупали, каждая виноградинка тщательно пересчитывалась и учитывалась в описи.

Когда в Шереметьевском дворце устраивались балы для «их сиятельств», то на дорогу выгоняли крепостных крестьян с тем, чтобы они факелами освещали дорогу вельможным каретам.

Видимо все эти вельможные истории так достали простой люд, что потом все случилось именно так, как мы уже знаем: через революцию, кровь, развал, разорение.

И ОЗВЕРЕНИЕ.

От которого как-то пришли в себя только где-то к середине 60-х.

И именно тогда была написана эта летопись, которая заканчивается одой во славу грядущего коммунизма.

Который, как мы сегодня совершенно точно знаем, так и не случился, но зато, вскорости, вместо коммунизма, грянул новый развал.

И все было примерно то же самое: с кровью, с разорением. С озверением.

То есть, в очередной раз.

Но это история другой летописи – она за мной.

В середине 60-х, все частные дома вокруг Кусковского дворца были снесены, всех обитателей поселка возле Шере-

метьевского дворца переселили в малогабаритные квартиры в окрестных панельных домах и это, в определенном смысле, знаменовало окончание той истории, которая была изложена в летописи Елены Павловны Долгих, в девичестве Коробовой.